

**К 200-летию
со дня рождения
и 140-летию
со дня смерти
Федора Михайловича
Достоевского
(1821–1881)**

Адлер А.

ДОСТОЕВСКИЙ*

Глубоко под землей, в рудниках Сибири надеется спеть свою песню о вечной гармонии Дмитрий Карамазов. Без вины виноватый отцеубийца несет свой крест и находит исцеление в уравновешивающей гармонии.

«Пятнадцать лет я был идиотом», — говорит в присущей ему любезной, улыбчивой манере князь Мышкин. При этом он умел истолковать любой завиток буквы, беспристрастно выражал собственные потаенные мысли и мгновенно разгадывал задние мысли другого. Вряд ли можно придумать большее противоречие.

«Кто я — тварь дрожащая или право имею?» — в течение долгих месяцев, лежа в своей кровати, размышляет Раскольников, задумав переступить границы, установленные его прежней жизнью, его чувством общности и жизненным опытом. И здесь мы снова сталкиваемся с огромным противоречием, вызывающим удивление.

Таким же образом обстоит дело и с другими его героями, и с его собственной жизнью. «Словно головешка клубился юный Достоевский в родительском доме», но когда мы читаем его письма к отцу и друзьям, то обнаруживаем довольно много смирения, терпимости и покорности своей печальной судьбе. Голод, мучения, нищета — всем этим вдоволь был усталан его путь. Он прошел тот же путь, что и его

* Написано в 1918 г.

поломники. Пылкий в юности, он нес свой крест подобно мудрому Зосиме, подобно всезнающим богомольцам в «Подростке», по крупичкам вбирая в себя весь опыт и по широкой дуге охватывая весь круг жизни, чтобы обрести знание, ощутить жизнь и отыскать истину, новое слово.

Кто таит и вынужден преодолевать в себе такие противоречия, тому необходимо докапываться до самых корней, чтобы обрести в себе состояние покоя. Ему приходится переживать муки жизни, трудиться, он не может пройти мимо любой мелочи, не приведя ее в соответствие со своей формулой жизни. Все в нем требует единого взгляда на жизнь, позволяющего обрести уверенность в себе и покой в его вечных сомнениях, колебаниях, в его расщепленности и неугомности.

Истина — вот что должно перед ним открыться, чтобы найти покой. Но путь тернист, требует большого труда, огромных усилий, тренированности духа и чувств. И неудивительно, что этот неугомный искатель подобрался к истинной жизни, к логике жизни, к совместной жизни людей значительно ближе, чем остальные, понять позицию которых было бы гораздо проще.

Он жил в нужде, и, когда умер, вся Россия мысленно следовала за его погребальной процессией. Он, испытывавший наслаждение от творчества, стойкий к ударам жизни, всегда находивший слова утешения не только для себя, но и для своих друзей, вместе с тем был крайне слаб, страдал ужасной болезнью — эпилепсией, которая нередко на несколько дней и даже недель выбивала его из колеи и не позволяла продвигаться вперед в своих планах. Государственный преступник, в течение четырех лет носивший на своих ногах цепи в Тобольске и еще четыре года отбывавший наказание в сибирском линейном полку, этот безвинный мученик дворянского рода выходит из каторжной тюрьмы со словами и чувством в сердце: «Наказание было заслуженным, так как я замышлял недоброе против правительства, однако жаль, что теперь я должен страдать за теории, за дело, которые не являются больше моими». Тем не менее вся Россия отрицала его вину и начала подозревать, что слова и дела могут означать полную противоположность.

Такие же немалые противоречия были у него и со своим Отечеством. Обращение Достоевского к общественности вызвало огромное брожение в умах, особенно вопрос о раскрепощении крестьян. Достоевского всегда занимали «униженные и оскорбленные», дети, страждущие. Его друзья многое могли рассказать о том, как он легко сходил с любым нищим, когда тот, например, обращался за врачебной помощью к кому-нибудь из его друзей, как затаскивал его в свою комнату, чтобы угостить и познакомиться с ним. Самым большим его мучением на каторге было то, что другие арестанты сторонились его как человека дворянского рода, и он постоянно стремился постичь сущность каторги, понять ее внутренние законы и найти границы, внутри которых для него были бы возможны взаимопонимание и дружба с остальными заключенными. Свою ссылку он использовал для того (что, впрочем, свойственно великим людям), чтобы даже в мелочах, в тяжелейших условиях проявлять чуткость к окружающим его людям, сделать свое зрение еще более острым и тем самым нащупать жизненные связи, создать для понятия «человек» душевную подпорку и в акте синтеза противоречий, грозивших подорвать и привести в смятение его дух, обрести уверенность и стойкость.

Эта неопределенность собственных душевных противоречий — то он бунтарь, то послушный слуга, — поставившая Достоевского на край пропасти и вызвавшая в нем ужас, вынудила его искать убедительную истину. Задолго до того, как он его высказал, главным тезисом Достоевского было: через ложь подобраться к истине, поскольку нам никогда не дано полностью распознать истину и мы всегда должны считаться с любой самой малой ложью. Тем самым он превратился в противника Запада, сущность которого открылась ему в стремлении европейской культуры через истину прийти ко лжи. Ему удалось обрести свою истину, лишь объединив клокочущие в нем противоречия, постоянно выражавшиеся и в его произведениях и грозившие расколоть это на части подобно его героям. Так, Достоевский воспринимал освящение как поэт и пророк и пришел к тому, чтобы установить границы себялюбия. Границы опьянению властью он нашел в любви к ближнему. То, что его самого вначале гнало вперед и подстегивало, было самым настоящим стремлением к власти, к господству, и даже в его попытке подчинить жизнь одной-единственной формуле еще многое кроется от этого стремления к превосходству. Этот мотив мы обнаруживаем во всех поступках его героев. Достоевский заставляет их стремиться возвыситься над остальными, совершать наполеоновские дела, двигаться по краю пропасти, балансировать на нем с риском сорваться вниз и разбиться. Сам он говорит о себе: «Я непозволительно честолюбив». Однако ему удалось сделать свое честолюбие полезным для общества. И таким же образом Достоевский поступал и со своими героями: он позволял им словно безумцам переступать границы, которые раскрывались ему в логике совместной жизни людей. Подгоняя жалом честолюбия, тщеславия и себялюбия, он заставлял их переходить за черту дозволенного, но затем навлекая на них хор эвменид и загонял обратно в рамки, которые, как ему казалось, были определены самой человеческой природой, где они, обретая гармонию, могли петь свои гимны.

Вряд ли какой-нибудь другой образ повторялся у Достоевского столь же часто, как образ границ или стены. «Я безумно люблю доходить до границ реального, где уже начинается фантастическое». Свои приступы он изображает таким образом, словно испытываемое блаженство манит его достичь границ чувства жизни, где он ощущает себя близким Богу, настолько близким, что вряд ли нужен был бы еще один шаг, чтобы отделить себя от жизни. У каждого из его героев этот образ повторяется снова и снова, всегда наполненный глубоким смыслом. Мы слышим его новое мессианское слово: грандиозный синтез героизма и любви к ближнему свершился. На этой черте, как ему казалось, решается участь его героев, их судьба. Туда его влекло, там, как он догадывался, происходит самое важное становление человека в социальной среде, и эти границы проведены им чрезвычайно точно, с редкой до него пронизательностью. И эта цель стала иметь для его творчества и его этической позиции совершенно особое значение.

Там, на этой черте, куда влекло Достоевского и его героев, в муках и колебаниях, в глубоком смирении перед Богом, царем и Россией он совершает слияние со всем человечеством. Чувство, во власти которого он оказался, — это повелевавшее ему остановиться чувство границ (так, пожалуй, можно было бы его назвать), превратившееся у него уже в защитное чувство вины (об этом много рассказывали его друзья), которое он своеобразно связывал со своими эпилептическими приступами,

не подозревая о его настоящей причине. Протянутая вперед рука Бога защищала человека, когда тот заносился в своем тщеславии и намеревался переступить границы чувства общности, предостерегающие голоса начинали звучать громче, призывая задуматься.

Раскольников, запросто рассуждающий о своей смерти и в порыве мыслей о том, что все дозволено, если только принадлежишь к избранным натурам, уже подумывает об остро наточенном топоре, месяцами валяется в кровати, прежде чем переступить эти границы. И затем, когда, пряча топор под своей рубашкой, он поднимается по последним ступенькам лестницы, чтобы совершить убийство, он ощущает, как бешено колотится его сердце. В этом сердцебиении говорит логика человеческой жизни, выражается тонкое чувство границ, присущее Достоевскому.

Во многих произведениях Достоевского не индивидуалистический героизм толкает персонажей переступать через линии любви к ближнему, а наоборот, человек перестает быть незначительным, чтобы умереть в плодотворном героизме. Я уже говорил о симпатии писателя к маленьким, ничем не примечательным людям. Тут героем становится человек «из подвалов», человек из серой обыденности, публичная женщина, ребенок. Все они начинают вдруг разрастаться до гигантских размеров, пока не достигнут тех границ общечеловеческого героизма, к которым их хочет подвести Достоевский.

Из своего детства он, несомненно, вынес ставшее ему близким понятие дозволенного и недозволенного, границ. То же самое относится и к его юности. Болезнь чинила ему препятствия, и на его духовном порыве рано сказались пережитые им зрелище смертной казни и ссылка. По-видимому, строгий педантичный отец Достоевского уже в детские годы боролся с озорством сына, несгибаемостью его пылкой души и чересчур строго указал ему границы, переступать которые было непозволительно.

«Петербургские сновидения» относятся к раннему периоду его жизни и уже по этой причине позволяют нам надеяться проследить в нем руководящие линии писателя. Все, что логическим путем может быть понято в развитии души художника, должно затрагивать линии, ведущие от ранних его работ, набросков, планов к более поздним формам его творческой энергии. Однако здесь обязательно надо отметить, что путь художественного созидания лежит в стороне от мирской суеты. И мы можем предполагать, что любой художник будет отклоняться от поведения, которое мы ожидаем от среднего, обычного человека. Писатель, который вместо того, чтобы дать обычный ответ в духе практической жизни, создает из ничего или, скажем, из своего взгляда на вещи художественное произведение, вызывающее у нас изумление, оказывается враждебно настроенным к жизни и ее требованиям. «Ведь я же фантазер и мистик!» — говорит нам Достоевский.

Примерное представление о личности Достоевского можно будет получить, как только мы узнаем, в какой момент действия он останавливается. В указанном выше очерке он говорит об этом достаточно ясно. «Подойдя к Неве, я на мгновение остановился и бросил взгляд вдоль реки в туманную, морозно-хмурую даль, где догорал последний багрянец вечерних сумерек». Это произошло тогда, когда он спешил домой, чтобы подобно светскому человеку помечтать о шиллеровских героинях. «Но настоящей Амалии я тоже не замечал; она жила совсем рядом со

мною...» Он предпочитал напиваться с горя и ощущал свое страдание более сладостным, чем все наслаждения, которые могут быть на свете, «ведь если бы я женился на Амалии, я несомненно был бы несчастен». Но разве это не самая простая вещь в мире? И так, некий поэт, сохраняя надлежащую дистанцию, размышляет о мирской суете, на миг останавливается, находит сладость придуманного страдания непревзойденной и знает, «как действительность уничтожает любой идеал. Я же хочу отправиться на Луну!» Но это означает: оставаться в одиночестве, не привязывать сердце ни к чему земному!

И таким образом жизненный путь писателя становится протестом против действительности с ее требованиями. Но не так, как в «Идиоте», не так, как у того больного, у которого «не было ни протеста, ни права голоса», а скорее как у человека, знавшего, что его умение переносить тяготы и лишения должно быть вознаграждено. Теперь, когда он был выбит из колеи своими муками и укорами, он обнаружил в себе бунтаря и революционера Гарибальди. Здесь было сказано то, что другие совершенно не поняли: смирение и покорность — это еще не конец, они всегда являются протестом, поскольку указывают на дистанцию, которую необходимо преодолеть. Толстому тоже была известна эта тайна, и часто его слова оставались непонятыми.

Об этом можно говорить, но никто этого не знает, когда речь идет о настоящей тайне. Никто не знал, кому собирался отомстить Гарпагон Соловьев, который голодал и умер в нищете, упрятав состояние в 170000 рублей в своих грязных бумагах. Как он внутри себя радовался, держа под замком свою кошку, свою квартирантку и горничную и сделав всех их виноватыми! Он держал их в своих руках, заставил нищенствовать, всех их, знавших деньги и поклонявшихся им как символу власти. Правда, это переросло у него в особую обязанность, в методическое насилие над собственной жизнью. Ему пришлось самому голодать и бедствовать, чтобы осуществить свой замысел. «Он выше всех желаний». Каким образом? Для этого надо было быть безумным? Что ж, Соловьев приносит и эту жертву. Ведь теперь он может продемонстрировать свое презрение перед человечеством и его мнимыми земными благами и мучать каждого, кто ему близок, не неся за это никакой ответственности. Все, что прокладывает ему путь в высшее общество, он держит в своих руках. Тут он на мгновение останавливается, бросает свою волшебную палочку в мусорный ящик и чувствует себя великим, выше всех людей.

Это, как нам кажется, самая сильная линия в жизни Достоевского, и все его грандиозные творения должны были являться ему на этом пути: деяние бесполезно, пагубно или преступно; благо же только в смирении, если последнее обеспечивает тайное наслаждение от превосходства над остальными.

Все биографы, занимавшиеся Достоевским, сообщают и интерпретируют одно из самых ранних его детских воспоминаний, о котором сам он рассказывает в «Записках из мертвого дома». Чтобы лучше его понять, надо иметь в виду то расположение духа, в котором у него возникло это воспоминание.

Уже отчаявшись в том, что сумеет найти контакт со своими товарищами по заключению, он отрекается от своего лагеря и осмысляет все свое детство, все свое развитие и все содержание своей жизни. И тут его внимание неожиданно задерживается на следующем воспоминании: однажды, гуляя возле имения своего отца, он

слишком удалился от дома, направился напрямик через поле и вдруг в ужасе остановился, услышав крик: «Волк, волк!» Он помчался обратно к защитной близости отчего дома, увидел на пашне крестьянина и бросился к нему. Рыдая и трясясь от страха, он судорожно вцепился в этого бедняка и поведал о пережитом ужасе. Крестьянин сложил над мальчиком крест из своих пальцев, утешил его и пообещал, что не даст волку его тронуть. Это воспоминание не раз истолковывалось таким образом, будто оно должно характеризовать союз Достоевского с крестьянством и религией крестьянства. Но главное здесь скорее волк — волк, который гонит его обратно к людям. Это переживание закрепилось как символическое отображение всех стремлений Достоевского, поскольку в нем содержалась направляющая линия его поведения. То, что заставило его трепетать перед обособленным крестьянством, было равносильно волку из его переживания, который гнал его назад, к бедным и униженным. Там он пытался через крестное знамение найти с ними контакт, там он хотел помогать. Именно это настроение и выражает Достоевский, говоря: «Вся моя любовь принадлежит народу, весь мой образ мыслей — это образ мыслей всего человечества».

Когда мы подчеркиваем, что Достоевский был истинно русским человеком и противником западников, что в нем пустила прочные корни панславянская идея, то это отнюдь не противоречит его натуре, стремившейся через заблуждение прийти к истине.

На одной из крупнейших манифестаций, в речи памяти Пушкина, он, считавшийся панславистом, тем не менее попытался добиться единения между западниками и русофилами. Результат в тот вечер был блестящим. Приверженцы обеих партий ринулись к нему, заключили в свои объятия и заявили, что согласны с его позицией. Однако это согласие было недолгим. Слишком много еще было между ними противоречий. По мере того, как Достоевский следовал за бурным стремлением своего сердца и хотел привнести в массы человеческое совершенство — задача, которую он прежде всего отводил русскому народу, — по мере того, как в нем формировался конкретный символ любви к ближнему, ему, желавшему освободиться самому и освободить других, все ближе становился образ спасителя, русского Христа, наделенного общечеловеческой и вселенской властью. Его кредо было простым: «Для меня Христос самая прекрасная, самая величественная фигура во всей истории человечества». Здесь Достоевский со зловецей прозорливостью открывает нам свою ведущую цель. Это проявляется в том, как он изображает свои приступы эпилепсии, когда, испытывая чувство блаженства, он устремлялся ввысь, достигал вечной гармонии и чувствовал себя близким к Богу. Его целью было стремление постоянно находиться рядом с Христом, стойко переносить его раны и исполнить его задачу. Обособленному героизму, который Достоевский считал проявлением болезненного самомнения, себялюбия, вытеснившего чувство солидарности, ставшее ему понятным и близким из логики совместной жизни людей, из любви к ближнему, такому героизму он противопоставлял: «Смирись, гордый человек!» К смиренному же человеку, уязвленному в своем себялюбии и тоже стремящемуся его удовлетворить, он взывает: «Трудись, праздный человек!» Атому, кто ссылается на человеческую природу и на ее якобы вечные законы, он, чтобы заставить усомниться в этом, возражает: «Пчела и муравей — вот кто знают свою формулу, но человек своей формулы не знает!» Исходя из сущности Достоевского, мы должны

добавить: человек должен искать свою формулу, и он найдет ее в готовности помогать другим, в беззаветном служении народу.

Так Достоевский превратился в отгадчика загадок и в богоискателя, ощущавшего Бога в себе сильнее прочих. «Я не психолог, — сказал он однажды, — я реалист» — и тем самым коснулся пункта, наиболее сильно отличавшего его от всех поэтов нового времени и от всех психологов. Он испытывал глубочайшую связь с первопричиной общественной жизни, с единственной реальностью, которую все мы до конца еще не поняли, но способны на себе ощущать, — с чувством общности. И поэтому Достоевский мог называть себя реалистом.

Теперь относительно вопроса, почему образы Достоевского оказывают на нас такое сильное воздействие. Важная причина этого заключается в их завершенной цельности. В любом месте вы всегда можете понять и изучить героя Достоевского, снова и снова вы находите слитыми воедино стремления его жизни и средства их осуществления. Для сравнения можно обратиться к музыке, в которой мы находим нечто подобное, где в гармонии мелодии всегда можно обнаружить все без исключения потоки и движения. То же самое и в образах Достоевского. Раскольников один и тот же и когда, лежа в кровати, размышляет об убийстве, и когда с колотящимся сердцем поднимается по лестнице, и когда извлекает пьяного из-под колес телеги и, отдав последние копейки, поддерживает его прозябающую в нищете семью. Эта цельность в построении и есть причина такого сильного воздействия, и с каждым именем героев Достоевского мы неосознанно носим в себе прочный, словно высеченный резцом из вечного металла, наглядный образ, подобный библейским персонажам, героям Гомера и греческих трагедий, именам которых достаточно только лишь прозвучать, чтобы вызвать в нашей душе весь комплекс своего воздействия.

Существует еще один скрытый момент, затрудняющий для нас понимание воздействия Достоевского. Однако предварительные условия для решения этой проблемы уже даны. Речь идет о двойственной позиции любого персонажа Достоевского по отношению к двум прочно зафиксированным пунктам, которую мы ощущаем. Каждый герой Достоевского движется в пространстве, которое, с одной стороны, ограничивается обособленным героизмом, где герой превращается в волка, а с другой стороны — линией, которую Достоевский столь резко очертил в качестве любви к ближнему. Эта двойственность позиции придает каждому из его персонажей такую устойчивость и твердость, что они раз и навсегда откладываются в нашей памяти и наших чувствах.

Еще несколько слов о Достоевском как об этике. В силу определенных обстоятельств, противоречий своего характера, которые ему необходимо было устранить, огромных противоречий со своим окружением, которые он нашел в себе силы преодолеть, Достоевский неизбежно пришел к формулам, вобравшим в себя и выражавшим его глубочайшее стремление доказывать на деле свою любовь к ближнему. Так он пришел к формуле, которую мы можем поставить гораздо выше категорического императива Канта: «Каждый несет ответственность за вину другого». Сегодня мы как никогда чувствуем, сколь глубока эта формула и насколько тесно она связана с жизненными реалиями, которые не вызывают никаких сомнений. Мы можем опровергать эту формулу, но она снова и снова будет всплывать на

поверхность и наказывать нас за ложь. Она оказывает гораздо большее действие, чем, например, понятие любви к ближнему, которое зачастую недопонимается или превращается в тщеславие или категорический императив, который также проявляется в обособленности личных стремлений. Если я ответственен за любую вину ближнего и за вину всех, то я вечно в долгу, который подстегивает меня, делает меня ответственным, требует от меня уплаты.

Таким образом, Достоевский как художник и этик является для нас великим и непостижимым.

То, чего он достиг как психолог, неисчерпаемо и поныне. Мы смеем утверждать, что его зоркий глаз психолога проник глубже, чем та психология, которая формируется на основе абстрактных рассуждений, поскольку он был ближе к природе. И тот, кто рассуждал о значении смеха, как это делал Достоевский, о возможности лучше узнать человека из его смеха, равно как и из всей его жизненной позиции, кто ушел настолько далеко, что столкнулся с понятием случайной семьи, в которой каждый ее член живет сам по себе и насаждает в детях тенденцию к дальнейшей изоляции, к себялюбию, тот увидел больше, чем еще и сегодня можно требовать и ожидать от психолога. Кто увидел, как Достоевский изображает в своем «Подростке», что все его фантазии закутанного в одеяло мальчика выливаются в понятие власть, кто так тонко и метко изобразил возникновение душевной болезни как средство протеста, кто углядел в человеческой душе склонность к деспотизму как Достоевский, тот и сегодня может считаться нашим учителем, каким он был и для Ницше. Его рассуждения о сновидении остаются непревзойденными и поныне, а его представление о том, что никто не способен мыслить и совершать поступки, не имея цели, не имея перед глазами финала, совпадает с самыми современными достижениями индивидуальной психологии.

Итак, существуют самые разные сферы, в которых Достоевский стал для нас бесценным, великим учителем. Реальность жизни подобна лучу солнца, который попадает в глаз спящему. Спящий протирает свои глаза, переворачивается на другой бок и ничего не знает о случившемся, Достоевский же мало что проспал и многое пробудил. Его образы, этика и искусство способствуют глубокому пониманию жизни человека среди других людей.
